

# Глава 10. Бремя «ЦИВИЛИЗАЦИИ»

## 1. Общественная пирамида

Посредством мегамашины царская власть стремилась сделать силу и славу Небес достоянием человека. И стремление это обернулось таким успехом, что невероятные достижения первичного механизма длительное время превосходили по техническим качествам и результатам все важные, но скромные заслуги, которые принадлежали остальным современным машинам.

Новый коллективный механизм — неважно, снаряжался он для труда или для войны, — навязывал людям ту же общую регламентацию, практиковал те же способы принуждения и наказания и распределял ощутимую награду главным образом среди господствовавшего меньшинства, которое создавало и контролировало мегамашину. Кроме того, он сужал границы общественной автономии, личной инициативы и самоуправления. Каждый подогнанный под единый стандарт компонент, находившийся под чьим-то началом, был человеком лишь отчасти, выполнял лишь часть работы и жил лишь отчасти. Запоздалый анализ разделения труда, проделанный Адамом Смитом, где разъясняется произошедший в XVIII веке скачок в сторону менее гибкой и менее человеческой, зато более производительной системы, — в равной степени применим и к древнейшей «промышленной революции».

В идеале, обслуживающий персонал мегамашины должен состоять из людей безбрачных, лишённых всякой семейной ответственности, общинных связей и просто человеческих привязанностей; подобный вынужденный целибат и сегодня существует в армии, в монастырях и тюрьмах. Другое название такого разделения труда, когда оно превращается в одиночное заключение с целью выполнения одного-единственного задания в течение всей жизни, — расчленение человека.

Порядок, навязывавшийся мегамашинной, со временем проник и в область местных ремёсел, превратив их в полурабский труд, ограничивающий рамки жизни; ибо в ремесленной работе не остаётся ничего живого, когда, например, в изготовлении простого копья участвуют семь специалистов, выполняющие семь отдельных операций. Ощущение, что всякая работа наносит ущерб человеческому духу, перешло незаметно от мегамашины на любой другой ручной труд. Почему этот «цивилизованный» технический комплекс всегда рассматривался как безусловный триумф, и почему человеческий род терпит его так долго, — навсегда останется одной из загадок истории.

Следовательно, цивилизованное общество делилось, грубо говоря, на два класса: большинство, приговорённое пожизненно к тяжёлому труду и работавшее не только ради того, чтобы хоть как-то прокормиться, но и ради излишка, который выходил за рамки семейных или общинных нужд, — и «знатное» меньшинство, презиравшее ручной труд в любой его форме и посвящавшее жизнь целиком утончённым «упражнениям в праздности», как сардонически выразился Торстейн Веблен. Часть произведённого излишка, надо признать, шла на поддержание общественных работ, приносивших пользу всем слоям общества; однако львиная доля расходилась по частным карманам богачей, любивших окружать себя материальной роскошью, и позволяла им содержать несчётную армию слуг и вассалов, наложниц и любовниц. Однако в большинстве обществ, пожалуй, наибольшая часть излишка уходила на прокорм, Вооружение и полное снаряжение военной мегамашины.

Общественная пирамида, установленная в эпоху пирамид в землях «плодородного полумесяца», продолжала служить моделью любого цивилизованного общества ещё много веков после того, как строительство этих геометрических усыпальниц вышло из моды. На вершине стояло меньшинство, лопавшееся от гордости и власти, возглавлявшееся царём и его вельможами, знатью, военачальниками и жрецами. Главным общественным обязательством этого меньшинства было управление мегамашинной, служившей благосостоянию (или дурносостоянию) общества. Единственным бременем — «обязанность потребления». В этом отношении древнейшие правители выступали прототипами нынешней элиты, задающей стиль и вкус в моде в нашем чрезмерно механизированном массовом обществе.

Исторические свидетельства начинаются в эпоху, когда уже твёрдо устанавливается эта пирамида цивилизации, с её разделением на сословия и широким основанием из рабочих, придавленных грузом вершины. А поскольку подобное разделение сохранялось вплоть до настоящего времени (а в некоторых странах, вроде Индии, даже ужесточилось, превратившись в неприкосновенную систему наследственных каст), то его нередко принимали за естественный порядок вещей. Но мы должны задаться вопросом: как возникла такая система, и на каких мнимых основаниях разума или справедливости она столь длительное время просуществовала, — ведь неравенство статуса, пусть оно укоренилось в законе и собственности, может лишь случайно совпадать с неравенством природных способностей, ибо с каждым новым поколением в биологическом наследии людей происходят значительные изменения.

Полемизуя в книге «Доисторическая эпоха и начатки цивилизации» со своими русскими комментаторами-коммунистами, британский археолог Леонард Вулли был явно озадачен их настоятельными требованиями: а именно, чтобы он непременно сделал упор на том положении вещей, которое ему, очевидно, казалось настолько «нормальным», что он даже не счёл нужным о нём упомянуть. Даже Бре-стеда можно было упрекнуть в подобном недосмотре; ибо он датировал появление справедливости и нравственной отзывчивости тем моментом, когда «Жалоба Красноречивого крестьянина», направленная против алчного землевладельца, незаконно обобравшего его, наконец была выслушана «в суде».

К сожалению, Брестед придавал чрезмерное значение улучшению закона и нравственности (назвав это «пробуждением совести»), потому что он мысленно взял за исходную точку использование власти в своих интересах, которую практиковали первые властители вроде «Нармера» и «Скорпиона», а также их преемники. По этой причине он оставил без малейшего внимания дружелюбные, нехищнические обычаи неолитической деревни, где господствовали терпимость и взаимопомощь, как чаще всего бывает в до-«цивилизованных» обществах. Брестед усмотрел в знаменитом папирусе возросшее этическое чувство у правящих классов, изъявивших желание защитить несчастных земледельцев от их арендаторов, которые нередко жестоко с ними обращались и бессовестно их грабили. Однако он даже не задался вопросом — а как, собственно, доминирующее меньшинство достигло положения, позволявшего им безраздельно применять власть.

Кризис совести, на котором останавливает внимание Брестед, был бы куда похвальнее, если бы не оказался столь запоздалым: так же спешно заглаживала свою вину, отказываясь от феодальных привилегий, французская знать накануне Революции 1789 года. Красноречивый крестьянин в конце концов добился справедливости — как сообщается в месте обрыва рукописи — но, не следует забывать, что это произошло лишь после того, как над ним вволю поиздевались, как его помучили и даже отхлестали кнутом — чтобы подольше поглумиться над комичной дерзостью бедняка, осмелившегося встать на защиту своих прав и обвинить своего хозяина. В односторонней системе общения, типичной для всех мегамашин, подобная попытка «поднять голос» расценивалась как неслыханное оскорбление высшим чинам; да так оно, по сути, и остаётся до сих пор в армейской среде с её воинской дисциплиной. В своём «чинопочитании» современное государство сохранило как дурные манеры, так и ошеломительную власть древних правителей.

Эта система молчаливо подразумевает, что богатство, досуг, уют, здоровье и долголетие по праву принадлежат правящему меньшинству, тогда как тяжёлый труд, постоянные физические и моральные лишения, «рабский стол» и ранняя смерть составляют удел основной массы людей. И с тех пор, как установилось это разделение, удивительно ли, что мечтой тружеников на протяжении всей истории — по крайней мере, в те сравнительно счастливые периоды, когда они осмеливались рассказывать друг другу сказки, — было желание праздной жизни и материального достатка? Впрочем, знать держала в узде эти желания, не давая им целиком захлестнуть бедноту: а именно, она устраивала периодические празднества и пиршества. Однако мечты о существовании, близком к тому, что вели правящие классы (например, поддельная бижутерия, которую носили в викторианской Англии бедняки, имитировала в меди золотые побрякушки высшей знати), не меркли век от века; напротив, они и сегодня служат активными составляющими фантазий о лёгком богатстве, витающими, словно розовый туман, над мегаполисами.

Несомненно, уже с самого начала главным бременем цивилизации была тяжесть самой мегамашины: она не только превращала повседневный труд в тягостное наказание, но и сводила на нет то психологическое вознаграждение, которое получают охотники, земледельцы и пастухи за свою подчас изматывающую работу. И никогда это бремя не было тяжелее, чем в начале, когда масштабные общественные работы в Египте имели своей главной целью поддержку притязаний фараона на божественность и бессмертие.

Чтобы придать вороху заблуждений подобие «правдивости», в XXIX веке до новой эры «... усыпальница царевича Некуры, сына фараона Хаф-Ра [56] из четвёртой династии, получила в дар из личного имущества царевича целых двенадцать городов, весь доход от которых шёл исключительно на содержание усыпальницы». Столь же суровое налогообложение ради не менее тщеславных целей было типично и для Солнечного божества (Le Roi Soleil [57]), построившего Версаль. Но к чему останавливаться на этом? Подобные свойства царской власти проявлялись на каждом отрезке истории.

Цену таких усилий отмечал, в другом контексте, Франкфорт: «В Египте все таланты уходили на увековечение царских особ. Захоронения в Ка-эль-Кебуре — кладбище в Среднем Египте, использовавшееся в течение третьего тысячелетия, — обнаруживают крайнюю скудость обстановки, причём худшего ремесленного качества, хотя в тот период расцвета Древнего Царства возводились пирамиды».

Этим сказано все. Будущие историки больших государств, запускающих сегодня в космос пилотируемые ракеты, несомненно, придут в своих наблюдениях к тем же выводам (если только наша цивилизация просуществует достаточно долго, чтобы довести сведения о себе до потомков).

## 2. Травма цивилизации

Хотя о развитии рабочей машины на протяжении истории можно объективно судить скорее по самим общественным сооружениям вроде дорог и укреплений, чем по каким-либо подробным описаниям, мы обладаем более полными документированными сведениями о мегамашине из примеров её массового негативного применения в войнах. Повторяю, что именно в виде военной машины весь ранее описанный порядок трудовой организации, — с его распределением по отрядам, артелям и более крупным единицам, — переходил от одной культуры к другой без существенных изменений, кроме тех, что затрагивали усовершенствование дисциплины и механизмов нападения.

Это ставит перед нами два вопроса: почему мегамашина просуществовала так долго в своей негативной форме, и — что даже важнее — какие побуждения и цели стояли за очевидными действиями военной машины? Иными словами, как случилось, что война сделалась неотъемлемой частью «цивилизации», что её стали превозносить как высшее проявление всякой «суверенной власти»?

В своём изначальном географическом окружении рабочая машина почти целиком объясняла и даже оправдывала своё существование. Как ещё могли бы так называемые гидравлические цивилизации управлять и пользоваться потоками воды, необходимой для выращивания большого урожая? Жителям маленькой общины, даже если бы они сплотились, было бы не под силу справиться с такой задачей. Но что касается самой войны, то она не может служить подобным оправданием: напротив, она опрокидывала все терпеливые усилия неолитической культуры. Те, что пытаются приписать войну врождённой биологической склонности человека, рассматривая её как проявление хищной «борьбы за существование» или как пережиток инстинктивной звериной агрессии, просто не понимают

разницу между фантастической, превращённой в ритуал бойней войны и другими, не столь тщательно продуманными видами вражды, противостояния и чреватых смертоносными последствиями столкновений. Драчливость, жадность и убийство ради добычи — действительно биологические свойства, по крайней мере, у плотоядных; но война — это уже порождение человеческой культуры.

На самых ранних этапах неолитической культуры не было и намёка на вооружённые стычки между соседними деревнями; возможно, даже массивные стены, окружавшие древние города вроде Иерихона, вначале выполняли лишь магико-религиозное предназначение и только потом стали служить военно-оборонительным целям (как подозревал Бахофен и утверждал Элиаде). При раскопках неолитических поселений бросается в глаза, полное отсутствие оружия, хотя в орудиях и черепках от посуды нет недостатка. Подобные свидетельства — пусть «от противного» — широко распространены. У таких охотничьих народов, как бушмены, в древнейшей пещерной живописи нет изображений смертельных сражений, тогда как в более поздних росписях, относящихся к периоду возникновения царской власти, сцены сражений есть. Так и на Крите, который в древности был заселён инородными и, следовательно, потенциально враждебными, пришельцами, коренные жители, как указывал Чайлд, «... по-видимому, уживались с ними вполне мирно, ибо на острове не найдено никаких следов укреплений того периода».

Все это не должно вызывать удивления. Война, как удачно заметил Грэм Кларк в «Археологии и обществе», всегда «напрямую ограничена — основой физического выживания, так как ведение любого продолжительного конфликта подразумевает избыточность в отношении запасов и людской силы». До тех пор, пока неолитическое общество не стало производить такой излишек, палеолитический охотник был занят исключительно охотой на собственную дичь. А это занятие позволяет выжить не более чем пяти или, самое большее, десяти охотникам на квадратную милю. Учитывая столь малое число, смертоносная агрессия была бы трудным и, хуже того, самоубийственным делом. Даже установление «территориальных границ», если оно и существовало между охотничьими группами, отнюдь не требовало кровопролитных столкновений, как нет их и у птиц.

В неолитическую эпоху обильные урожаи, которые давали большие равнины «плодородного полумесяца», изменили эту картину и предоставили новые условия жизни как земледельцам, так и охотникам. Обычные трудности культивации усугублялись нападениями опасных животных — тигров, носорогов, аллигаторов, гиппопотамов, — во множестве водившихся в Африке и Малой Азии. Эти хищники, да и едва ли менее опасная крупная скотина (вроде тура), ещё не одомашненная, вжимали гибельную «подать» и людьми, и домашними животными, и часто вытапывали или пожирали урожай.

С такими животными отваживались вступать в борьбу только искусные в ремесле убийства охотники, оставшиеся с эпохи палеолита, а не трудолюбивые садовники или земледельцы, которые в лучшем случае умели ловить сетями рыбу или ставить силки на птиц. Земледелец, крепко привязанный к доставшемуся ему тяжким трудом клочку земли, привыкший к размеренной работе, являл полную противоположность охотнику — любителю приключений и странствий, — и был совершенно неспособен на агрессию, практически

парализованный своими миролюбивыми добродетелями. Не последним из скандалов, вызвавших негодование одного из представителей старого общественного порядка, когда эпоха пирамид с шумом закончилась, стал случай с «птицеловами» — обычными крестьянами, а не охотниками!, — которые сделали военачальниками.

В Египте и Месопотамии эти оседлые привычки возобладали, должно быть, ещё до того, как охотники научились обращать их себе на пользу: древнейшие города Шумера отстояли друг от друга не более чем на десяток миль, и потому, скорее всего, их основали в ту пору, когда подобное близкое соседство ещё не порождало захвата спорной собственности и столкновений. И что ещё важнее, эта пассивность, эта покорность, не говоря уж об отсутствии оружия, — позволяли небольшим группам охотников без труда взимать дань (выражаясь языком сегодняшних реалий, выколачивать деньги «за крышу») со значительно более многочисленных земледельческих общин. Таким парадоксальным образом, рост могущества воинов предшествовал самой войне.

Почти неизбежно, эта перемена произошла сразу во многих местах; и немедленно стали появляться бесспорные свидетельства о вооружённых столкновениях между двумя независимыми и политически организованными группами: на таком определении критериев войны настаивал Малиновский, чтобы отличать её от простых территориальных угроз, какие бывают и у птиц, от грабительских набегов или каннибальской охоты за головами. Война подразумевает не только агрессию, но и вооружённое коллективное сопротивление этой агрессии: если последнее отсутствует, то речь идёт скорее о завоевании, порабощении и истреблении, а не о войне.

Разумеется, снаряжение, устройство и тактика войска не были изобретены в одночасье; видимо, понадобился какой-то переходный период, прежде чем большие отряды научились слаженно действовать по приказу одного или нескольких предводителей. До того, как возникли города с их достаточно сосредоточенным населением, прелюдией к войне являлись организованные, но односторонние проявления мощи и воинственности, принимавшие форму захватнических походов за древесиной, малахитом, золотом, рабами.

Коренные перемены, которые привели к возникновению войны как таковой, нельзя, на мой взгляд, объяснять только биологическими или, скажем, рациональными экономическими причинами. За этим стоит более важный иррациональный компонент, до сих пор практически не изученный. Цивилизованная война начинается не там, где охотничий вождь непосредственным образом превращается в царя, затевающего войны: она берёт своё начало в произошедшем гораздо раньше переходе от охоты на животных к охоте на человека; а особой целью этой последней охоты (если осторожно наложить на далёкое прошлое неоспоримые позднейшие свидетельства) являлся захват людей для человеческих жертвоприношений. Имеется много разрозненных данных (которые я уже затрагивал, говоря об одомашнивании), наводящих на предположение, что местные человеческие жертвоприношения предшествовали межплеменным столкновениям или войнам между крупными городами.

Если придерживаться этой гипотезы, то война с самого начала являлась побочным продуктом религиозного ритуала, своей жизненной важностью намного превышающую для

общины те более «мирские» выгоды вроде захвата земель, добычи или рабов, которыми более поздние общины пытались объяснить свои параноидальные навязчивые желания или зловещие массовые истребления людей.

### 3. Патология власти

Чрезмерное стремление личности к власти как к самоцели всегда вызывает подозрение психолога: тот усматривает в нём попытку скрыть какую-то неполноценность, бессилие или тревогу. Когда же эта тяга сопровождается непомерным тщеславием, неуправляемой злостью, и подозрительностью, и утратой всякого ощущения положенных человеку пределов, порождающей «манию величия», она становится типичным синдромом паранойи — психического состояния, от которого избавиться чрезвычайно трудно.

Выходит так, что у древнего «цивилизованного» человека имелись основания страшиться тех сил, которые он сам же высвобождал путём целого ряда технических достижений. На Ближнем Востоке многие общины всеми силами вырывались за тесные рамки позволявшего лишь прокормиться хозяйства, с его чётко определённым кругом занятий, и устремлялись навстречу миру, распахнувшемуся на все стороны, осваивая все более обширные территории, а после 3500 года до новой эры с веслами и под парусами отправлялись в дальние края за различным сырьём, часто вступая в контакт с другими народами.

Мы хорошо знаем, как трудно добиться равновесия в экономике изобилия; и наше желание возложить всю ответственность за коллективные действия на плечи одного президента или диктатора является (как заметил Вудроу Уилсон задолго до того, как диктаторы вновь вошли в моду) одним из условий — самым лёгким и одновременно самым опасным — достижения такого контроля.

Я уже пытался проследить последствия этой общей ситуации на примере становления царской власти; теперь же остановимся подробнее на её отношении к жертвенным ритуалам войны. По мере того, как община распространялась все шире и связи внутри неё становились всё теснее, внутреннее равновесие ослаблялось, и угроза ущерба или лишений, голода и гибели делалась всё более серьёзной. В условиях, которые не поддавались никакому местному воздействию, вероятно, росла нервная тревога. Магическое отождествление божественного царя с целой общиной не уменьшало поводов для тревоги, потому что, вопреки своим пышным притязаниям на божественную милость и бессмертие, цари, как и прочие смертные, были подвержены пагубным случайностям и неудачам; и если царь возвышался над простыми людьми, то его падение могло оказаться и крахом всей общины.

На ранней стадии, о которой нет письменных документов, мечта и действительность, миф и наваждение, эмпирические знания и суеверные догадки, религия и наука составляли единый ком. Одной благоприятной перемены погоды после жертвенного обряда было достаточно, чтобы подобные умиловительные убийства совершались с большей уверенностью и в гораздо более крупном масштабе. Имеются основания подозревать, опираясь на позднейшие свидетельства из Африки и Америки, собранные воедино

Фрэзером, что когда-то, быть может, в ритуальную жертву приносили самого царя — просто оттого, что он и воплощал свою общину.

Чтобы спасти обожаемого правителя от такой мрачной участи, видимо, со временем стали уговаривать простолюдинов ради общего блага сделаться заместительной жертвой; а когда и такие жертвоприношения стали неприемлемы — как следует из классического эпоса майя «Пополь-Вух», — пришлось искать другую замену, а именно — добывать пленников из чужих общин. Превращение захватнических набегов в полноценные войны между царями как равными «суверенными владыками», при поддержке не менее кровожадных богов, не документировано. Однако это единственная догадка, которая связывает все составляющие войны воедино и в некоторой степени объясняет, почему данное явление продолжало существовать на протяжении всей истории.

Условия, благоприятствовавшие организованной войне, которую вела чрезвычайно мощная военная машина, способная полностью сокрушать массивные оборонительные стены, разрушать плотины, обращать в обломки города и храмы, — значительно окрепли благодаря настоящему триумфу рабочей машины. Однако крайне маловероятно, чтобы эти героические общественные работы, требовавшие почти нечеловеческих усилий и выносливости, были предприняты в каких-то исключительно мирских целях. Община никогда не стала бы истощать свои силы и, тем более, жертвовать частной жизнью ради какой-либо иной цели, кроме той, что почиталась великим священнодействием. Лишь трепетное благоговение перед неким *mysterium tremendum* [58], неким проявлением божественного начала во всей его страшной силе и сияющей славе, могло вызвать столь избыточные коллективные старания. Это магическое могущество неизмеримо перевешивало любые соображения хозяйственной выгоды. А в тех более поздних случаях, когда подобные усилия и жертвоприношения совершались явно ради каких-то чисто экономических преимуществ, выяснялось, в свою очередь, что сама эта мирская выгода превратилась в божество, в некий священный сладострастный объект, — не важно, назывался он Маммоной или как-то иначе.

Очень скоро у военной организации, необходимой для захвата пленников, появилось другое священное предназначение: а именно, активно защищать царя и местное божество от ответных мер, предупреждая вражеские нападения. С появлением этой новой цели расширение военной и политической мощи вскоре сделалось самоцелью, как высшее свидетельство могущества богов, управлявших общиной, и верховного статуса её царя.

Цикл, состоящий из завоевания, истребления и мести, — хроническое состояние всех «цивилизованных» государств, и — как заметил ещё Платон, — война является их «естественным» состоянием. Здесь, и множество раз позднее, изобретение мегамшины как усовершенствованного инструмента царской власти породило новые цели, которым ей впоследствии предстояло служить. В этом смысле, изобретение военной машины сделало войну «необходимой» и даже желанной — так же, как изобретение реактивных самолётов сделало «необходимым» и прибыльным массовый туризм.

При появлении первых документов обнаружился примечательный факт: распространение войны как непрямого спутника «цивилизации» лишь усилило ту коллективную тревогу,

которую прежде был призван унять обряд человеческого жертвоприношения. И по мере того, как общественная тревога возрастала, её становилось уже невозможно успокоить символическим раздиранием жертвы на алтаре: эту малую кровавую дань требовалось заменить уже коллективным расставанием с жизнью.

Тревогу необходимо было унимать магическим жертвоприношением: обычай человеческих жертвоприношений привёл к охоте на людей, а со временем эти односторонние набеги превратились в вооружённые стычки и взаимную вражду между соперничавшими правителями и народами. Так в эту жуткую церемонию вовлекалось всё большее число людей со всё более смертоносным оружием, и то, что сначала было случайной прелюдией к символическому жертвоприношению, само превратилось в «священное жертвоприношение», совершавшееся *en masse* [59]. Это идеологическое заблуждение явилось последним вкладом в усовершенствование военной мегамшины, ибо способность вести войну и приносить в жертву жизни множества людей оставалась отличительной чертой любой суверенной власти на протяжении всей истории.

К тому времени, когда появляются письменные свидетельства о войне, все предшествовавшие события в Египте и Месопотамии были уже забыты и утрачены для истории, хотя, возможно, они и не отличались от тех, что, как мы точно знаем, из обнаруженных позже источников происходили у майя и ацтеков. Однако, уже во времена Авраама голос Бога приказал любящему отцу заколоть любимого сына на жертвеннике [60]; а публичное жертвоприношение пленников, захваченных на войне, оставалось одной из обычных церемоний в «цивилизованных» государствах вроде Древнего Рима. То, что современные историки сплошь и рядом превратно истолковывают все эти свидетельства, показывает, насколько важно было для «цивилизованного» человека заглушить такие дурные воспоминания, чтобы сохранить уважение к себе как к разумному существу — иллюзию, позволяющую жить дальше.

Итак, два противоположных полюса цивилизации — это механически организованный труд и механически организованное уничтожение и истребление.

Для обеих целей применимы приблизительно одни и те же силы и одинаковые способы действия. В некоторой степени, систематическая ежедневная работа позволяла держать в узде ту своенравную энергию, которая теперь могла претворять случайные мечты и прихотливые фантазии в реальность; однако у правящего сословия не было такой спасительной отдушины. Для пресыщенных праздностью богачей война стала «настоящим делом» и благодаря сопряжённым с нею лишениям, ответственностью и смертельному риску заменила почётный труд. Война сделалась не просто «здоровьём государства», как называл её Ницше, но и наиболее дешёвой разновидностью якобы «творческой» деятельности, потому что всего за несколько дней она порождала видимые результаты, которые уничтожали плоды усилий многих поколений.

Это колоссального масштаба «негативное творчество» постоянно разрушало действительные достижения машины. Трофеи, добытые в успешном военном походе, были, говоря языком экономики, «полной экспроприацией». Однако, как позднее обнаружили римляне, замена оказалась плохой — ведь с процветающей экономической организации

можно ежегодно взимать постоянный подоходный налог. Как это было позднее с испанцами, награбившими золото в Перу и Мексике, такие «лёгкие деньги», должно быть, нередко подрывали хозяйство победителя. Когда такие империи с грабительской экономикой сделались доминирующими и стали охотиться друг за другом, они уничтожили возможность однобокой выгоды. Экономический результат оказался столь же неразумным, сколь и военные средства.

Но чтобы компенсировать такие слепые вспышки враждебности и такое нарушение упорядоченных норм поведения, необходимых для жизни, мегамашина учредила куда более суровый внутренний порядок, чем наблюдавшийся в большинстве скованных старинными обычаями племенных общинах. Этот механический порядок дополнял ритуал жертвоприношения, ибо всякий порядок — неважно, насколько строгий, — уменьшает потребность в выборе и, следовательно, ослабляет тревогу. Как указывал психиатр Курт Гольдштейн, «принудительные формы порядка» становятся важными, когда тревога порождается чисто физическим поражением мозга.

Ритуалы жертвоприношения и ритуалы принуждения были отработаны до совершенства действием военной машины. И если тревога представляла собой изначальный мотив, вызывавший субъективный отклик в форме жертвоприношения, то война, расширяя возможное поле жертвоприношений, заодно сужала поле, в пределах которого мог действовать нормальный человеческий выбор, основанный на уважении ко всем творческим возможностям организма. Словом, принудительная коллективная форма порядка являлась главным достижением негативной мегамашины. В то же время, порождённое усилиями мегамашины возрастание власти впоследствии вызвало явные симптомы порчи в умах тех, кто привыкал к обладанию такой властью: правители не просто становились бесчеловечными, но порой безвозвратно теряли всякое чувство реальности, — подобно шумерскому царю, который увлёкся покорением чужих земель, а вернувшись в собственную столицу, обнаружил, что она в руках врага.

Начиная с IV века до новой эры, появляется множество стел и монументов великих царей с бессмысленной похвальбой своим могуществом и тщетными угрозами тем, кто осмелится разграбить их гробницы или уничтожить надписи, — но всё-таки и то, и другое постоянно происходило. Подобно Мардуку в аккадском варианте эпоса о сотворении мира, правители нового бронзового века всходили на колесницы, «непобедимые и ужасающие», «искусные опустошители, умелые разрушители, облачённые в доспехи ужаса». С подобными страшилками мы хорошо знакомы и сами: их постоянно тиражирует Пентагон в своих выпусках «ядерной прессы».

Такие постоянные утверждения власти, несомненно, представляли собой попытки облегчить завоевание, заранее запугав врага. Но они свидетельствуют и о возрастании иррациональности, почти пропорциональном орудиям уничтожения, имевшимся в распоряжении властелинов; нечто похожее мы тоже наблюдали в наш век. Эта паранойя была столь методична, что завоеватель не раз стирал город с лица земли — лишь затем, чтобы снова выстроить его на том же месте, и продемонстрировать свою двоякую роль: разрушителя-творца, или дьявола-бога в одном лице.

Полвека назад данные о подобных исторических деяниях ещё могли показаться сомнительными; однако правительство США в точности повторило эту технику при полном разрушении и последующем послевоенном восстановлении Германии; победив жестокую военную стратегию — смертоносные бомбардировки — столь же низкими политическими и экономическими методами, оно передало победу нераскаявшимся сторонникам Гитлера.

Эта амбивалентность, эта двойственность двух типов мегамшины, нашла выражение во вкрадчивой, леденящей душу угрозе, содержащейся в конце шумерской поэмы, которую цитирует С. Н. Крамер:

“ Топор и корзина возвели города,  
И прочный дом строит топор...  
Дом, восстающий против царя,  
Дом, непокорный царю своему,  
Тот же топор царю подчинит.

С утверждением культа царской власти потребность в усиленной власти не уменьшилась, а лишь возросла; ведь города, некогда мирно существовавшие почти на виду друг у друга, как первоначальные городские скопления в Шумере, отныне сделались потенциальными врагами: у каждого имелся свой воинственный бог, каждым управлял свой царь, и каждый был способен собрать огромную вооружённую рать и истребить соседнее поселение. В таких обстоятельствах первоначальная нервная тревога, которая требовала коллективных церемониальных жертвоприношений, вскоре легко превратилась в разумную тревогу и обоснованный страх, делавшие неизбежным принятие контрмер того же порядка — или, напротив, готовности сдаться без боя, как предложил Совет старейшин в Эрехе [61], — когда появилась серьёзная угроза.

Полезно обратить внимание на то, что говорится в «Хронике Саргона» в похвалу одному из древнейших представителей этой новой системы власти — аккадскому царю Саргону: «У него не было ни соперников, ни противников. Он ослеплял своим ужасающим блеском все сопредельные страны». Чтобы поддерживать ореол власти, который, как замечает Оппенгейм, окружает лишь царские особы, «5400 воинов ежедневно ели в его присутствии», — то есть, внутри цитадели, где они охраняли сокровищницу и храмовые зернохранилища, эти монополистические инструменты политического и экономического контроля. Стена вокруг цитадели не только обеспечивала дополнительную надёжность на тот случай, если будут проломлены внешние городские стены, но и защищала находившихся внутри от всяческих восстаний местного населения. Присутствие в крепости постоянной армии, в любой момент готовой схватиться за оружие, указывает сразу на два обстоятельства: во-первых, потребность в подручном средстве принуждения для сохранения порядка, и, во-вторых, способность держать в строгой узде само войско, которое в противном случае могло бы обратиться в опасную толпу бунтовщиков — как слишком часто случалось впоследствии в Риме.

## 4. Путь империи

Первоначальное торжественное отождествление царской власти со священным началом, человеческими жертвоприношениями и военной организацией, я полагаю, составляло ядро всего развития «цивилизации», происходившего между 4 000 и 600 годами до новой эры. Скрывшись под новыми личинами, оно неистребимо и в настоящее время. Сегодняшнее «суверенное государство» — это лишь увеличенный отвлечённый аналог боготворимого царя; а такие установления, как человеческое жертвоприношение и рабство, по-прежнему живы, равно укрупнившись в масштабе и став более властными в своих требованиях. Всеобщая воинская повинность (набор людской силы по фараоновой модели) значительно умножила число священных жертв, тогда как конституционное правительство с помощью «консенсуса» лишь сделало власть правителя более абсолютной, поскольку несогласие и критика просто не «признаются».

Со временем магические побуждения, толкавшие людей к войнам, приняли более достоверное обличье утилитарной выгоды. Погоню за жертвенными пленниками можно было превратить в ещё более массовое и жуткое убиение захваченных женщин и детей, но те же жертвы, если их пощадить, можно было обращать в рабство, тем самым умножая рабочую силу и экономическое преуспевание народа-завоевателя. Так побочные результаты военных усилий — рабы, добыча, земля, дань, налоги, — вытеснили и коварно скрыли первоначальные, некогда ничем не прикрытые, иррациональные мотивы. Поскольку общее расширение экономической производительности и культурного богатства сопровождало существование царской власти и даже оттеняло её разрушительную деятельность, люди вынужденно принимали зло как единственный способ достичь добра; притом, если мегамашина исправно работала, у них просто не было альтернативы.

Постоянная гибель цивилизаций от внутреннего распада и внешних нападений, обильно документированная Арнольдом Тойнби подчёркивает тот факт, что злые элементы в этом сплаве чаще всего одерживали верх над добрыми и благотворными. Одним из непреходящих достижений мегамшины стал миф самой машины — представление о том, что машина по самой своей природе совершенно непреодолима — и в то же время, если ей не сопротивляться, в конце концов полезна. Эти магические чары по сей день завораживают и тех, кто распоряжается мегамашинной сегодня, и её массовых жертв.

По мере того, как военная машина становилась сильнее, авторитет храма терял свою необходимость, и дворцовая организация, разбогатев и сделавшись самодостаточной в пределах большого территориального государства, часто затмевала значимость религии. Оппенгейм приходит к такому выводу, изучив период, последовавший за падением Шумера; однако подобное смещение равновесия мощи и авторитета происходило неоднократно. Зачастую жречество шло на уступки той самой мегамашине, которую оно же первоначально и помогло освятить и утвердить.

Успехи мегамшины усугубляли опасные возможности, прежде не вырывавшиеся наружу лишь вследствие простой человеческой слабости. Врождённая слабость всей этой системы власти сказывается в том, что царей, вознесшихся над всеми прочими людьми, постоянно обманывали, задабривали лестью, закармливали лживыми сведениями — и ревниво оберегали от беспокойств, то есть уравнивающей «обратной связи». Поэтому цари никогда не могли понять — ни из собственного опыта, ни из истории — того, что

неограниченная власть вредна для жизни: что их методы самоубийственны, военные победы эфемерны, а высокомерные притязания насквозь лживы и нелепы.

В конце первой «эпохи строителей» в Египте, то есть в период правления фараона Пепи I из шестой династии, появляется свидетельство, подтверждающее эту неизбывную иррациональность, — тем более впечатляющее, что исходит оно от довольно трезвомыслящих и не склонных ко всякой дьявольщине египтян:

“ Войско благополучно вернулось,  
Опустошив землю Жителей Песков.  
  
Разрушив их ограды...  
Вырубив их смоквы и виноградники...  
Предав огню все их жилища...  
Истребив десятки тысяч их людей.

Это короткое описание прослеживает путь любой Империи, где бы то ни было: те же хвастливые слова, те же злодеяния, те же грязные результаты — от Древнейшей Египетской плиты до последнего выпуска американской газеты (он у меня в руках) с репортажами о массовых жестокостях, которые военные силы США с помощью напалмовых бомб и ядов, убивающих всякую растительность, хладнокровно чинят над крестьянским населением Вьетнама; невинный народ был оторван от своей земли, запуган, отравлен и заживо зажарен лишь ради того, чтобы сделать «правдоподобными» властолюбивые фантазии американской военно-промышленно-научной элиты.

Однако самым актом санкционирования разрушения и убийств война во всей её губительной спонтанности временно преодолевала ограничения, изначально присущие мегамашине. Поэтому начало войны часто сопровождалось чувством радостного освобождения: цепи повседневной рутины сбрасывались, а до подсчёта искалеченных и убитых ещё оставалось время. При завоевании страны или взятии города привычные добродетели цивилизации выворачивались наизнанку. Уважение к собственности сменялось разнузданным разрушением и грабежом, сексуальная подавленность — официально поощряемым насилием, а ненависть народа к правящему сословию умело обращалась в счастливую возможность калечить и убивать чужеземных врагов.

Короче говоря, угнетатель и угнетаемые, вместо того, чтобы сцепиться друг с другом внутри своего же города, направляли свою агрессию вовне, на некую общую цель — и нападали на чужой город. Таким образом, чем сильнее была социальная напряжённость и чем тяжелее повседневный гнёт цивилизации, тем полезнее становилась война как некий защитный клапан. Наконец, война выполняла ещё одну более важную функцию, если верна предлагаемая мной гипотеза о связи между тревогой, человеческим жертвоприношением и войной. Она как бы являлась оправданием самой себе, вытесняя смутную нервную тревогу рациональным страхом перед лицом реальной опасности. А когда война разражалась, появлялись действительные основания для мрачных предчувствий, ужаса и компенсаторных проявлений отваги.

Совершенно очевидно, что хроническое состояние войны слишком тяжкая цена за хвалёные блага «цивилизации». Стойкого улучшения можно было добиться, лишь искоренив миф о божественной царской власти, разобрав непомерно могучую мегамашину и положив конец её беспощадной эксплуатации людской силы.

У психически здоровых людей нет потребности предаваться фантазиям об абсолютной власти; не приходит им в голову и добровольно становиться калеками или преждевременно заигрывать со смертью. Но роковая слабость любой чрезмерно регламентированной институциональной структуры (а «цивилизация» почти по определению чрезмерно регламентирована с самого времени своего возникновения) заключается в том, что, как правило, она не порождает психически здоровых людей. Жёсткое разделение труда и обособление каст ведут к неуравновешенности характеров, а механическая рутина возводит в норму — и поощряет — такие привычные к принуждению личности, которым страшно сталкиваться с приводящей в замешательство пестротой жизненных проявлений.

Иными словами, упорное пренебрежение естественными пределами человеческих возможностей вредило тому действительно ценному вкладу и в устройство людских дел, и в понимание места человека в космосе, который привнесли в мышление новые религии, обращённые к божественным небесам. Динамизм и тяга к экспансии цивилизованной техники могли бы оказаться жизненно важным противовесом застою и обособленному характеру деревенской культуры, если бы её собственная природа не была ещё более враждебна вольнолюбивой жизни.

В целом, любая система, основанная на вере в абсолютную власть, чрезвычайно уязвима. Сказка Ганса Христиана Андерсена об императоре, который отправился на воздушном корабле покорять землю и потерпел поражение из-за крошечной мошки, забравшейся к нему в ухо и мучавшей его, прекрасно обобщает множество прочих подобных промахов. Сильный из городов можно победить хитростью или предательством, как нас учат примеры Вавилона и Трои; а одна лишь легенда о возвращении Кецалькоатля привела к тому, что Монтесума не стал принимать никаких мер, чтобы напасть на малочисленный отряд Кортеса. И даже суровейшие царские наказания могут оставить без внимания люди, ещё умеющие прислушиваться к собственным чувствам и доверять собственным суждениям, — как поступил сердобольный пастух, тайно ослушавшийся своего царя и спасший жизнь младенцу Эдипу.

После второго тысячелетия до новой эры в использовании колоссальной рабочей машины обнаружили перебои: она никогда уже вполне не достигала той небывалой вершины производительности, о которой свидетельствует немая громада великих пирамид. Частная собственность и частный найм понемногу вытеснили многие функции, некогда являвшиеся общественными, поскольку ожидание выгоды оказалось более действенным стимулом, чем страх наказания. С другой стороны, военная машина — хотя она весьма рано достигла вершины упорядоченности в шумерской фаланге, — способствовала многим техническим усовершенствованиям и в других областях. Едва ли будет преувеличением сказать, что механические изобретения вплоть до XIII века Новой эры обязаны гораздо больше военному делу, нежели мирным искусствам.

Такое положение сохранялось на протяжении значительных отрезков истории. Колесницы бронзового века появились раньше, чем вошли в общий обиход повозки для мирных нужд; кипящее масло сначала использовали для отпугивания врага, осаждающего город, и лишь много позже — чтобы приводить в действие машины и отапливать помещения; а ассирийские войска применяли особые надувные меха для переправы через реки за тысячи лет изобретения «спасательных кругов» для тех, кто учится или не умеет плавать. Металлургические успехи тоже проявлялись куда быстрее в военном, нежели в гражданских искусствах; косы для истребления людей стали прикреплять к боевым колесницам гораздо раньше, чем к сельскохозяйственным сенокосилкам; а знания Архимеда в области механики и оптики были применены для уничтожения римского флота, напавшего на Сиракузы, задолго до того, как их додумались использовать для более конструктивных промышленных целей. От греческого огня до атомных бомб, от баллист до ракет, военное дело оставалось главным источником тех механических изобретений, которые требовали металлургических или химических познаний.

И тем не менее, даже признав и оценив должным образом эти изобретения, можно утверждать, что ни одно из них (да и все они, вместе взятые) не внесло столь же важного вклада в технические возможности и крупномасштабные коллективные действия, как сама мегамашина. Как в созидательной, так и в разрушительной роли, мегамашина учредила новый порядок работы и новый стандарт исполнения. Дисциплина и самопожертвование, присущих армии, оказались для любого общества тем необходимым элементом, что позволяет заглянуть за деревенский горизонт; а упорядоченная система счётных книг, которые впервые появились при храмах и дворцах, легла в основу экономических знаний, ценных для всякой крупной системы делового сотрудничества и торговли.

Наконец, отвлечённая модель мегамшины подразумевала существование самоуправляемой машины, не зависящей от ежеминутного человеческого надзора, если и не от всякого контроля вообще. То, что прежде неуклюже делали человеческие «винтики», причём непременно в большом количестве, исподволь подготовило механические операции, которые сегодня с лёгкостью выполняются почти без участия человека: так, автоматическая гидравлическая электростанция заменяет энергию ста тысяч лошадей. Ясно, что многие механические триумфы нашей эпохи уже таились в зачаточном виде в самых ранних мегамшинах, и, более того, воображение древних уже предвосхищало нынешние успехи. Но прежде чем попусту чваниться нашим собственным техническим прогрессом, давайте вспомним, что одно термоядерное оружие способно сегодня уничтожить десять миллионов человек и что люди, которые занимаются сейчас разработкой этого оружия, уже доказали: они так же не застрахованы от практических просчетов, ошибочных суждений, порочных фантазий и психических срывов, как и цари бронзового века.

## 5. Протесты против мегамшины

С самого начала балансир механизированной власти, по-видимому, клонился в сторону разрушения. Пока мегамашина переходила в нетронутым виде от одной цивилизации к другой, её преемственность утверждалась в негативной форме военной машины: строгая выучка, единый стандарт и разделение на обособленные части. Это относится даже к

деталюм военной дисциплины и организации — например, к раннему профессиональному разделению между ударным оружием и огнестрельным оружием дальнего действия, между лучниками, копейщиками, мечниками, конниками и колесничими.

Не становись воином, советует египетский писец эпохи Нового царства: ведь новобранец «... получает жгучий удар по телу, гибельный удар по глазу... и его череп проломлен. Его валят наземь и колотят... Он избит кнутом до крови и синяков». На таких страданиях рядовых воинов зиждилось «славное могущество»: разрушительный процесс начинался уже с подготовки самого маленького отряда. Совершенно очевидно, что «прусская» армейская муштра имеет гораздо более долгую историю, чем обычно принято считать.

Хотелось бы утешиться мыслью, что созидательная и разрушительная стороны мегамшины уравнивают друг друга, предоставляя развиваться дальше более важным человеческим стремлениям, основанным на предыдущих достижениях в окультуривании и очеловечивании. В некоторой степени, это действительно происходило, поскольку обширные земли в Азии, Европе и Америке были завоеваны (если вообще завоеваны) лишь номинально, и, не считая уплаты налогов и податей, их жители вели, в целом, обособленную и замкнутую общинную жизнь, порой доводя собственную провинциальность до той точки, где она граничила с самооглулением и пагубной тривиальностью. Но, пожалуй, величайшая угроза работе мегамшины исходила изнутри — в силу её негибкой природы и тяги к подавлению всякой индивидуальной одарённости, а порой и вовсе из-за отсутствия какой-либо разумной цели.

Помимо разрушительной направленности, военной машине было свойственно много «врождённых» ограничений. Само возрастание реального могущества воздействовало на правящие сословия таким образом, что высвобождало буйные фантазии бессознательного и позволяло вырываться наружу садистским импульсам, которые прежде не находили коллективного выхода. В то же время, работа машины зависела от слабых, подверженных ошибкам, глупых или упрямых людей, — так что под давлением весь аппарат грозил рухнуть и распасться на части. А механизированные человеческие компоненты невозможно было постоянно удерживать в плотном рабочем единстве, вне поддержки глубокой магико-религиозной веры в саму систему, — например, отражавшуюся в почитании богов. Поэтому под гладкой и внушительной поверхностью мегамшины, пусть даже опиравшейся на призванные пробуждать благоговейный трепет символические фигуры, должно быть, с самого начала скрывалось множество трещин и щелей.

К счастью, дело обстоит так, что человеческое общество невозможно привести в полное соответствие с умозрительной структурой, которую породил культ царской власти. Слишком многое в повседневной жизни ускользает от действенного надзора и контроля, не говоря уж о принудительном порядке. С древнейших времён стали появляться указания на негодование, открытое неповиновение, удаление и бегство людей от властей: всё это увековечено в классическом библейском повествовании об исходе евреев из Египта. Даже когда не предоставлялось подобных возможностей коллективного спасения, повседневные дела на поле, в мастерской или на рынке, влияние семейных уз и верность местным традициям, культ второстепенных богов, — как правило, несколько ослабляли систему тотального контроля.

Как уже отмечалось выше, наиболее значительное крушение мегамшины произошло, по-видимому, в тот ранний период, когда эпоха пирамид, судя по оставшимся от неё погребальным сооружениям, переживала свой пик. Ничто, кроме восстания и последовавшего за ним переворота, не может служить достаточным объяснением для междоусобицы, которое продолжалось около двух столетий и отделило «Древнее царство» от «Среднего царства». И хотя в конце концов прежний архаичный комплекс власти удалось восстановить, были всё же сделаны некоторые важные уступки, в том числе — допущение, что бессмертие (некогда привилегия фараона и его приближённых) является и уделом прочих людей. Хотя у нас и не имеется документальных данных о событиях, которые вызвали и сопровождали это низвержение центрального правительства, однако, помимо красноречивых немых свидетельств, включая и прекращение строительных работ, мы располагаем ярким и подробным рассказом Ипувера, приверженца старого порядка, о таких переменах, какие могли последовать лишь за насильственным переворотом. Ипувер рисует картину переворота изнутри, так же живо (если не с меньшей долей вымысла), как «Доктор Живаго» — большевистскую революцию.

Этот первый бунт против установленного порядка перевернул «вверх ногами» пирамиду власти, на которой держалась мегамшина: как рассказывает папирусный текст, женам вельмож пришлось стать служанками или блудницами, а простолюдины заняли высшие должности. «Привратники говорят: «Давайте чинить грабежи»... Человек видит врага в собственном сыне... Знать сетует, а нищие веселятся... Вся страна утопает в грязи. В эти дни не увидишь людей в чистой одежде... Строители пирамид, сделались земледельцами... Запасы зерна в Египте ежедневно расхищаются».

Очевидно, в эту пору действительность пробила брешь во внушительной богословской стене и обрушила прежнюю социальную постройку. На некоторое время чары космического мифа и централизованной власти рассеялись, и бремя правления возложили на себя феодальные князья, крупные землевладельцы, региональные правители, городские и сельские советы, вернувшиеся к служению своим мелким местным божкам. Такое едва ли случилось бы, если бы мрачные и тяжкие условия жизни, навязанные царской властью, невзирая на великолепные технические достижения мегамшины, не сделались совершенно невыносимыми.

Этот ранний переворот доказал, о чём, пожалуй, было бы полезно напомнить и сегодня, что ни точность науки, ни искусность в инженерном деле не являются панацеей от безрассудности тех, кто управляет системой. И самое главное — что мощнейшую и исправнейшую из мегамашин можно разрушить, что человеческие заблуждения не вечны. Крушение эпохи пирамид наглядно показало, что мегамшина зиждется на человеческой вере, которая может угаснуть, на человеческих решениях, которые могут оказаться ошибочными, и на человеческом согласии, которое исчезает, если люди перестают верить в магию. Человеческие элементы, составляющая мегамашину, по природе своей были механически несовершенными: на них никогда нельзя было полностью положиться. До тех пор, пока не начали производить в достаточном количестве настоящие машины из древесины и металла, способные заменить большинство людских компонентов, мегамшина оставалась уязвимой.

Я сослался на этот бунт потому, что его последствия (если не сама приведшая к нему причинная цепочка) помогают понять многие другие протесты, мятежи и восстания рабов, память о которых, вероятно, была старательно вычеркнута из официальных хроник. К счастью, к имеющимся сведениям мы можем прибавить пленение и избавление евреев, о чьём рабском труде на египетскую мегамашину рассказано в Библии; кроме того, нам известно о восстании рабов в Древнем Риме при аристократическом правлении братьев Гракхов. У нас есть основания подозревать, что многие другие человеческие бунты столь же беспощадно пресекались, как были подавлены и восстание Уота Тайлера, и Парижская Коммуна 1871 года.

Однако помимо открытого восстания, имелись и другие, более мирные способы выражения как отчуждения, так и сопротивления. Иные из них были настолько мирными, что представляли собой в действительности просто здоровое развитие мелкомасштабных хозяйственных операций и светских интересов. Сам город, хотя поначалу он являлся главным предметом честолюбивых царских замыслов, сделался не только активным соперником мегамашины, но и, как выяснилось, её более человеческой и действенной альтернативой, куда лучше пригодной для управления экономическими делами и использования всяческих человеческих способностей. Ведь великая экономическая мощь города заключается не в механизации производства, а в осмысленном накоплении наибольшего количества разнообразных навыков, возможностей и интересов.

Вместо того, чтобы насильно выравнять человеческие различия и нивелировать человеческие реакции, — с тем, чтобы мегамашина лучше функционировала как единое целое, — город, напротив, признавал и подчёркивал эти различия.

Благодаря постоянному общению и взаимодействию, городские власти и сами граждане научились использовать даже свои несогласия для извлечения выгоды из не раскрытых ранее человеческих возможностей, которые в иных обстоятельствах просто погибали под гнётом жёсткой регламентации и общественного конформизма. Городское коллективное сотрудничество на основе добровольного компромисса на протяжении всей истории являлось серьёзным соперником механической регламентации и зачастую успешно её одолевало.

Правда, город никогда полностью не уходил от влияния мегамашины; да и как бы ему это удалось, если его средоточием была цитадель — зримое воплощение организованного сращения священной и мирской властей, постоянное напоминание о вездесущей царской власти? И тем не менее, жизнь в городе благоприятствовала многоязычному человеческому диалогу — в противовес сковывающему языки монологу царского величия, хотя, разумеется, возникновение этих ценных качеств городской жизни никогда не входило в изначальные замыслы царей, и потому они нередко подавлялись.

Кроме того, город поощрял маленькие группы и объединения, основанные на добрососедстве или на профессиональной общности, и верховные власти всегда смотрели с подозрением на их угрожающую независимость. Как указывал Лео Оппенгейм, в Месопотамии (пусть и не в Египте) город всё-таки обрёл достаточно могущества и уважения к себе, чтобы потягаться с государственной организацией. «Малое число древних и важных

городов пользовалось привилегиями и свободами от царя и его власти... В принципе, жители «вольных городов» требовали — с большим или меньшим успехом, в зависимости от политического положения, — освобождения от барщины, освобождения от военной повинности... а также налоговых льгот». Иными словами, если воспользоваться предложенной мной терминологией, эти древние города требовали большой степени свободы от мегамшины.

## 6. Обуздание мегамшины

Поскольку основные перемены в установлениях, предшествовавшие созданию мегамшины, носили магический и религиозный характер, не следует удивляться, что и наиболее мощный протест против неё исходил из тех же главных источников. Письма двух моих корреспондентов подсказали мне мысль об одной подобной реакции: а именно, что священный институт субботы являлся, по сути, способом намеренно приостанавливать работу мегамшины через определённые промежутки времени, давая отдохнуть рабочей силе. Раз в неделю победу одерживал маленький, тесный человеческий круг — семья и синагога; так заново утверждались в своих правах те человеческие компоненты, которые сурово подавлял мощный аппарат власти.

В отличие от всех прочих религиозных праздников, обычай праздновать субботу распространился из Вавилона по всему миру, главным образом найдя отражение в трёх религиях — иудаизме, христианстве и исламе. Однако он имел узкое местное происхождение, и причины гигиенического порядка, выдвинутые Карлом Судхоффом для оправдания этого обычая, при всей их справедливости с физиологической точки зрения, тем не менее, не дают полного объяснения его возникновению. Изымать из трудовой недели целый день — это уловка, которая могла возникнуть лишь там, где имелся экономический излишек, это желание хотя бы ненадолго сбросить бремя принуждения и потребность в утверждении более важных человеческих забот. Последняя возможность, должно быть, казалась особенно привлекательной такому угнетённому и поработщённому народу, как древние евреи. В субботний день люди из самых низших сословий в общине наслаждались свободой, досугом и достоинством, доступными в остальные дни только избранному меньшинству.

Подобное дерзкое отступление, очевидно, не было результатом какой-то намеренной оценки или критики системы власти; должно быть, оно явилось из гораздо более глубоких и тёмных коллективных источников: возможно, на дне его лежало стремление подчинить не только тело человека принудительному труду, но и его внутреннюю жизнь — заведённому ритуалу. Впрочем, евреи, первыми начавшие соблюдать субботу и передавшие этот обычай другим народам, неоднократно становились жертвами мегамшины, когда весь народ обращали в рабство; и во время вавилонского пленения они дополнили празднование субботы другим побочным продуктом того же исторического эпизода — учреждением синагоги.

Этот священный институт не имел ограничений всех более ранних религий, привязанных к территориальным богам, недостижимому жречеству и столице, поскольку его можно было

перемещать повсюду; и глава такой общины, рабби (раввин) являлся скорее мудрецом и судьёй, нежели жрецом, зависимым от царской или городской власти. Подобно деревенской общине, синагога воплощала собой тесные отношения, по типу «Я-и-Ты»: её единство держалось не просто на соседской близости, не просто на общности ритуалов и на особом дне, отведённом для религиозного служения, но и на регулярном наставлении и спорах о сущности древних обычаев, нравственности и законах. Именно эта интеллектуальная функция, которой недоставало деревенской культуре, сложилась под влиянием городской жизни.

Насколько сейчас известно, ни одна другая религия до 600 года до новой эры не сочетала в себе этих наиболее важных атрибутов, включая лёгкость проникновения в самые малые группы и общедоступность, — хотя Вулли и усматривает их в тех обычаях домашней религии, которые Авраам мог перенять в Уре, где даже погребение покойников совершалось в крипте под жилым домом. Благодаря синагоге еврейская община вновь обрела самостоятельность и способность к самовоспроизводству, которые утратила деревня из-за роста более крупных политических организаций.

Данным фактом объясняется не только чудесное выживание евреев на протяжении долгих веков гонений и напастей, но и их расселение по всему миру. Более того, он показывает, что эта малая по своим масштабам организация, пусть такая же безоружная и открытая внешнему гнёту, как и деревня, смогла сохраниться в качестве активного ядра самодостаточной умственной культуры на протяжении более чем двадцати пяти веков, тогда как более крупная разновидность организации, опиравшаяся исключительно на власть, исчезла. Синагога обладала внутренней мощью и стойкостью, всегда недостающими высокоорганизованным государствам и империям, несмотря на все их временно эффективные инструменты принуждения.

В силу своих особенностей, маленькая общинная ячейка в её иудейской форме имела и серьёзные недостатки. Уже краеугольный камень её веры — существование особых отношений, о которых уговорились Авраам с Иеговой и которые делали евреев «избранным народом», — представлял собой утверждение столь же самонадеянное как и божественные притязания царей. Эта неудачная предпосылка длительное время не давала другим народам следовать примеру синагоги, пока внутри неё не созрела ересь христианства, которая позволила разнести по разным странам традицию подобного религиозного общинного устройства. Обособленность иудейской веры превосходила даже обособленность племени или деревни, где, по крайней мере, не возбранялся, а даже поощрялся брак с членами другой группы. Однако, при всех своих слабостях, уже по тому сопротивлению, какое вызывала еврейская община, становится ясно, что и в институте синагоги, и в обычае строго соблюдать субботу евреи нашли способ чинить помехи мегамашине и опровергать её непомерно раздутые притязания.

Враждебное отношение к иудеям и ранним христианам со стороны могущественных государств служило мерилom неприязни, которую испытывали грубая военная мощь и «абсолютная» политическая власть при столкновении с маленькими общинами, крепко связанными традициями общей веры, нерушимыми обрядами и разумными идеалами. Власть не может длительное время удерживаться на высоте, если у тех, на кого она распространяется, нет причин уважать её и доверять ей. Маленькие, с виду беззащитные

организации, облагающие внутренней цельностью и собственным складом мышления, в конечном итоге часто оказывались куда более способными победить произвольную власть, чем многочисленные войска, — хотя бы потому, что трудно уследить за ними и напрямую с ними столкнуться. Поэтому на протяжении всей истории крупные государства всячески стремились обуздать и подавить подобные организации, — не важно, были то почитатели тайных культов, содружества, церкви, цеха или гильдии, университеты или профсоюзы. В свою очередь, этот антагонизм указывает, каким именно образом можно в будущем обуздать саму мегамашину и установить над ней известную меру разумной власти и демократического контроля.

---

Версия #1

Зверобой создал 15 января 2026 23:33:18

Зверобой обновил 15 января 2026 23:35:17